М. М. Соколов

«Свобода от ценностей — это не инструмент научного поиска, это его финальный пункт»

Михаил Михайлович Соколов — кандидат социологических наук, профессор Назарбаев Университета. **Электронная почта:** mikhail.sokolov@nu.edu.kz.

Андрей Андреевич Герасимов — независимый исследователь. **Электронная почта:** agerasimov@eu.spb.ru.

Ирина Васильевна Дуденкова — кандидат философских наук, доцент философско-социологического факультета ИОН РАНХиГС, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), старший преподаватель кафедры философии религии и религиоведения богословского факультета ПСТГУ. **Электронная почта:** dudenkova-iv@universitas.ru.

Аннотация: В интервью поднимаются вопросы институционализации социологии социальных и гуманитарных наук, перспектив социологии как научной дисциплины, механизмов академического признания. Социология трактуется как форма организованного самообмана, обсуждается место и актуальность принципа свободы от ценностей в научной работе.

Ключевые слова: социология общественных и гуманитарных наук, свобода от ценностей, академическое признание, научный глобализм и локализм, апология социального знания

Для цитирования: *Соколов, М. М.* «Свобода от ценностей — это не инструмент научного поиска, это его финальный пункт» / Интервьюеры: А. А. Герасимов, И. В. Дуденкова // Пути России. 2026. Т. 4. № 2. С. 9–32.

Редактор **Алина Владимировна Лихачевская**, МВШСЭН

Интервью провели 2 декабря 2025 года Ирина Дуденкова, декан факультета социальных наук МВШСЭН, и Андрей Герасимов, выпускник Европейского университета, один из студентов Михаила Соколова, специально для тематического номера журнала «Пути России», посвященного социологии социальных и гуманитарных наук.

Ирина Дуденкова: Я бы хотела начать с обсуждения нескольких манифестов, которые написал Михаил. Мне кажется, это необычно, что кроме каких-то научных исследований существует ещё экзистенциальный оттенок, личное отношение к той области знания, которую Михаил изучает. Я сначала попробую узнать обстоятельства создания Манифеста Диких Молодых Доцентов и конкретизировать этот аспект объективности и свободы независимого академического поиска, который там очень отчётливо рассматривается. Как он сейчас для вас звучит? Может ли он быть действительно этическим императивом? Как вы оцениваете этот мотив Манифеста Диких Молодых Доцентов?

Михаил Соколов: Не знаю, как изменились позиции моих соавторов по этому поводу. Я бы сказал, что мои не изменились. В этом смысле мне совсем нечем похвастаться в плане интеллектуального развития. По крайней мере, тот акцент, который делался на свободе от ценностей, остался в моей виденье социологии на месте. Я имею в виду ту часть манифеста, где говорилось, что свобода от ценностей есть не средство, а цель социологии. Я попробовал бы генерализовать это сегодня, сказав, что в истории социальной мысли есть разные эпохи, в которых доминирует тот или иной импульс. Один импульс очень понятный, человеческий: желание убедиться, что то, во что мы верим, — правильно. Искать подтверждение своих взглядов, и интуитивно воспринимать как правильные и заслуживающие большего доверия источники, которые этим взглядам не противоречат — очень мощная общечеловеческая психологическая склонность. В социологии она проявляется, возможно, даже в несколько преувеличенном виде, потому что наша работа — это выносить какие-то суждения о реальности, и когда мы вынуждены сказать, что наши прежние суждения были неправильными, мы тем самым не только испытываем внутренний дискомфорт, но и переживаем профессиональную дисквалификацию. Поэтому социологи в этом плане еще более консервативны, чем остальные смертные.

С другой стороны, иногда возникает и противоположный импульс — хотеть, чтобы нам показали, что все, во что мы всегда верили как в правду, на самом деле — неправда. В некоторые эпохи этот импульс становится сильнее первого.

То, что мы считаем золотыми веками в истории социологии как раз совпадает с историческими моментами, когда целое поколение начинает рассматривать свои собственные устоявшиеся взгляды с по-

дозрением. Если мы посмотрим на динамику рождения знаменитых социологов, то обнаружим, что в ней имело место два пика. Первый пришёлся примерно на конец 1850-х — начало 1860-х годов. Большая часть героев курса по истории классической социологии появилась на свет в интервале между 1 марта 1858 года, когда родился Зиммель, и 21 апреля 1864 года, когда родился Вебер. На протяжении 6 лет между ними родились Дюркгейм, Зомбарт, Вебер, Веблен и Роберт Парк. Второй период тоже примерно 5–6 лет, между 1926 и 1930 годами, когда родилась большая часть классиков современной социологии (Фуко, Говард Беккер, Бурдье, Хабермас, Харрисон Уайт, Луман, Бергер и Лукман, Дарендорф). Основная активность первой когорты пришлась на период где-то между 1890-м и 1920-м, второй — где-то между 1960-м и началом 1980-х. Посмотрите на наши хэндбуки по истории социологии: большая часть текстов, которые там будут, была исходно опубликована в эти узкие интервалы. Попробуйте сходу вспомнить знаменитого социолога, который родился в 1870-х или 1880-х годах. Это можно сделать, но это будут уже имена второго ряда, и они не придут вам в голову в сразу (разве что в России могут сразу подумать о Питириме Сорокине, родившемся в 1889). Интеллектуальный пик второй из этих когорт совпал с Молодёжной революцией 1960-х—и это был момент фундаментального сомнения западной цивилизации в своем собственном мировоззрении.

Это сомнение замечательно описывает Миллс в начале «Социологического воображения», когда пишет о том, что его современники все чаще ощущают себя людьми, проснувшимися и осознающими, что находятся они в чужом доме, который прежде лишь казался им знакомым и родным[1]. Чего он не говорит — это моё домысливание, — что подобное тревожное и, вместе с тем, будоражащее ощущение было связано в значительной степени с Холодной войной и с пониманием того, что привычный способ видеть мир и готовность отстаивать этот способ как единственно верный, интуитивное чувство того, что мы правы, а все возражающие нам — или идиоты, или мерзавцы, — приведёт нас к взаимному уничтожению. Конечно, мы уверены, что мы правы, но они тоже уверены, что они правы. Собственно, именно наша правота и завела нас в смертельный тупик. Или мы все настаиваем на правоте своих привычных взглядов на мир, или остаёмся в живых. Именно это осознание, мне кажется, в 60-е годы дало очень сильный импульс, способствующий развитию социологического воображения.

Известное определение либерального образования, данное Робертом Хатчинсом, гласит, что его цель — освободить индивида из “prison-house of his class, race, time, place, background, family and even his

[1] *Миллз, Ч. Р.* Социологическое воображение. / Пер. с английского О.А. Оберемко. М.: NOTA BANE, 2001.

nation". Эта же задача становится в тот период основной задачей социологической теории: выйти из темницы предубеждений своего политического лагеря или своей социальной среды. Все это в значительной степени ушло из социологической повестки в дальнейшем. То есть в каком-то плане мы снова вступили в парадигматическую эпоху, в которой есть доминирующий взгляд на мир, и большинство социологов вовсе не хотят отказываться от него, и вообще любой вызов ему воспринимают как наступление на самую суть своего ремесла.

Так вот, та линия ассоциации себя с политической незаинтересованностью, которая была в Манифесте Диких Молодых Доцентов, в моей интерпретации как раз была выражением, если хотите, ностальгии по эпохе, когда социологи хотели достичь свободы от ценностей и выйти из темницы своих устоявшихся представлений о мире. Мы занимаемся тем, чем занимаемся, для того, чтобы быть меньше прикованными к той перспективе, которая продиктована нашей культуры или нашим социальным положением. Вот что, я предполагаю, в этом тексте было написано. Я прежнему в это верю, хотя за прошедшие уже 15 лет большая часть социологов, по-моему, все меньше видела свое ремесло в этом свете.

И. Д.: Мне кажется, что здесь возникает противоречие с другим манифестом, который вы написали в 2015 году, 10 лет назад, «Социология как чудо»[2], где прозвучал другой тезис о том, что социальное знание является результатом автофабрикации. Можно прояснить, что такое автофабрикация? Насколько я понимаю, это поддержание коллективной веры, в то, чего в действительности не происходит — коллективной веры внутри научного сообщества. И нет ли здесь проблемы, если эта вера нуждается в поддержке на длинной дистанции?

М. С.: Я не думал об этом тексте 2015 года как о манифесте никоим образом, хотя, наверное, он говорит очень много о моих настроениях тогда, да и сейчас. Текст 2010 года был нормативным, а 2015 — задумывался как дескриптивный, констатирующий то, как мир работает, не как должен работать. Но с тем, о чём я только что говорил, это стыкуется достаточно хорошо. Правда, в 2015 я писал не столько о социальном знании как об автофабрикации, сколько о статусе социологии как науки как об автофабрикации. И здесь я, в общем, снова остался при том же мнении.

Когда я использовал термин «автофабрикация», то делал это с явной отсылкой к Гоффману. Меня интересовало, как во фрейм-анализе можно было бы анализировать самообман. У Гоффмана есть две

[2] *Соколов, М. М.* «Социология как чудо. Процесс sense-building в одной академической дисциплине» // Социология власти. 2015. № 27 (3). С. 13–57.

формы социальной организации небуквальности. Есть *keyings*, «переключение» в переводе Батыгина[3]. Не идеальный перевод, но лучшего пока никто не придумал. «Переключение» — это когда люди совместно участвуют в чём-то, что, как все они знают, и знают, что все знают, не является тем, что буквально изображается. Например, театральная постановка. Или дети играют во что-нибудь.

А вторая форма — это фабрикация, когда одна группа людей обманывает другую. В самом чистом виде, мошенничество. Разговор с «куратором из СВР» по телефону, который просит перевести деньги на безопасный счёт. И тут основная задача тех, кто такую постановку ставит, — обманом заставить других в неё верить.

Но как быть в случае с самообманом, при котором люди обманывают сами себя? Где он должен быть расположен в этом спектре? Это была одна линия рассуждений, которая присутствовала в этом тексте, и из нее взялось понятие автофабрикации. А вторая была как раз связана с судьбами социологии и с тем, что главный страх для социологов — не только для социологов, но и, в общем, для всех учёных, как говорит социология научного знания, — заключается в том, чтобы обнаружить себя частью мыслительного коллектива, стиль которого не будет поддержан их окружением[4]. То есть, в обывательском представлении об учёных, среди ученых есть консенсус по поводу того, ответ на какие вопросы научном сообществу известен, а на какие — нет. Есть общее знание о незнании. Но на самом деле, говорит Флек, учёные состоят из мыслительных коллективов, которые имеют разные идеи на этот счет. Одни думают, что уже нашли ответ, и убеждают себя в том, что их подход в целом правильный, осталось немножко подкрутить, например, эксперимент — и тогда всё получится. Другие не верят, что ответ найден, да и вопрос кажется им неправильно заданным. И те, и другие могут долго жить бок о бок. История науки полна вот таких замкнутых мыслительных коллективов, которые существуют как пузыри, верящие, что они уже на пороге великого открытия или уже сделали великое открытие, осталось убедить остальной мир. Потом некоторые из таких коллективов занимают потом места в наших учебниках, но о всех остальных бесповоротно забывают, потому что успешные коллективы так переписывают историю, словно неуспешных и не было никогда.

Знакомый, наверное, всем ученым экзистенциальный страх, который вытекает из этой картины, — это страх обнаружить, что они как раз в таком пузыре и провели всю свою жизнь. Что они, со-

[3] *Гофман, И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой, 2003.

[4] *Флек, Л.* Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива / Составл., предисл., перевод с англ., нем., польского яз., общая ред. Поруса В. Н. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.

знательно или нет, подгоняли результаты и их интерпретации так, чтобы они укладывались в знакомую и уже придуманную ими картину. А на самом деле — раз! — и весь этот карточный домик однажды рухнет. Или даже не рухнет, но просто почему-то другой карточный домик станет зданием науки, а их домик исчезнет.

В случае социологии этот страх, наверное, ещё более общий и ещё более фундаментальный, потому что мы не знаем, не превратится ли в глазах образованных людей 50 лет спустя социология в разновидность алхимии или схоластики, о которой будут вспоминать пренебрежительно, если вообще будут. И идея моя состояла в том, что значительная часть того, что делают социологи, мотивируется как раз попыткой справиться с этим страхом. Это вроде бы то же самое, что и сказать, что социологи с самых своих первых дней стремились сделать из социологии настоящую науку. Однако, на самом деле, совсем не то же самое. Гоффман говорил, что быть кем-то — это не единственный и часто даже не лучший способ казаться этим кем-то. Например, испытывать какие-то чувства — это не обязательно лучший способ продемонстрировать другим, что мы испытываем эти чувства. Вопреки тому, как иногда понимается Станиславский, испытывать те же самые чувства, что Гамлет, может быть, не очень хорошей идеей для того, чтобы играть Гамлета, хотя бы потому, что Гамлет изъясняется стихами, а человек, встретивший призрак своего отца, вряд ли станет это делать.

И то же самое относится к самообману. Убедить самих себя, что являешься кем-то, и на самом деле являться этим чем-то — это не обязательно одно и то же. И вот в статье я под разными углами пытался посмотреть на социологическую практику в свете потребности социологов видеть в социологии настоящую науку. Например, без этого сложно объяснить успех регрессии как статистической техники. Эндрю Эбботт в одной из своих статей задавался вопросом, почему социологи настолько полюбили регрессию, что в какой-то момент центральным элементом социологической статьи — в десятках процентов, может быть, даже более 90% статей ведущих журналов — стала регрессионная табличка[5]. Действительно, почему? Потому что регрессия воплощала в себе идеал научной кумуляции. Кумуляция — необходимый, может быть, даже самый важный атрибут науки. Кумулятивная наука — это вообще очень привлекательный идеал. Она воплощает мечты о бессмертии в доступной современному человеку форме. Ни один вклад не пропадает целиком и полностью. Все внесли свой маленький кирпичик в построение общего знания. Даже те, что гипотезы опровергнуты, научили чему-то остальных, потому что благодаря им некоторые направления поиска были отброшены как тупиковые. Регрессия воплощает этот идеал.

[5] *Abbott, A.* Transcending general linear reality // Sociological Theory. 1988. Vol. 6. No. 2. P. 169-186.

Мы встроили открытия наших предшественников в проверяемые гипотезы, добавив соответствующие переменные. В результате, здание кумулятивной науки строится на наших глазах. Оказалось, что получилось оно не так, как хотелось бы, но те, кто находится внутри, по крайней мере точно могли ощущать себя настоящими учёными на какой-то временной дистанции. Правда, магия автофабрикации работала только ограниченное время, потому что, когда регрессий становилось всё больше, они становились всё сложнее, а уверенности, что же мы открыли, всё не возникало, начинали раздаваться вопросы о том, чем мы занимались всё это время. Экономисты, которые пошли по этому пути раньше, кажется, за последние 10–15 лет обнаружили, что никакая сложность регрессии не отвечает на вопрос статистического контроля и устранения ложных переменных, на который она, по идее, должна отвечать. И обратились к естественным экспериментам, которые сейчас на пике моды[6]. Безусловно, до социологии это тоже доберётся, как уже добралась до политической науки.

И третья часть истории в той давней статье была связана с теорией сожалений, вернее, с тем, что находимся ли мы внутри автофабрикации или нет, — мы узнаём только в конце пути[7]. Строили ли мы карточный домик или здание науки выясняется, только когда его сдувают или не сдувают ветры времени. Но это, вероятно, будет уже после нас и мы об этом уже ничего не узнаем. Но если мы строили что-то, а потом сами от этого отказались — тогда бы уже точно знаем, что это был карточный домик. То есть мы можем испытать неудачу сейчас, а можем её отложить на некоторое время, может быть, простирающееся за пределы времени нашей жизни. Это как гигантский лохотрон, в котором можно выйти из игры раньше, но тогда точно поймешь, что проиграл. А можно поднять ставки, и тогда на некоторое время остаётся шанс, пусть даже все более призрачный, что-то выиграть. Или экспедиция, которая должна найти землю где-то там за пределами известного мира: можно повернуть, а можно продолжать плыть дальше. Если ты повернул — то увеличиваешь шансы на выживание, но тогда твоя экспедиция точно неудачна. Для социологов, пессимистически предполагал я, проект построения кумулятивной науки, был чем-то вроде гигантского лохотрона. Остановившись, они отказались бы не только от своих перспективы обнаружить, что находятся в правильном пузыре, но и перспективы всех своих предшественников занять место в истории науки. Поэтому социологи делали массу разных вещей для того, чтобы, например, забывать или

[6] *Angrist, J. D., Pischke, J. S.* The credibility revolution in empirical economics: How better research design is taking the con out of econometrics. // Journal of Economic Perspectives. 2010. Vol. 24. No. 2. P. 3-30.

[7] *Sokolov, M.* A sociology of regret // European Journal of Social Theory. Vol. 26. No. 1. P. 3-23.

изолировать себя от каких-то влияний, мешавших им верить, что они находятся внутри успешного проекта научного познания общества.

То, что я рефлекторно цитировал Гофмана несколько минут назад как автора идеи о том, что быть — не лучший способ кем-то казаться, было невольной иллюстрацией сказанного. Разумеется, до Гофмана значительная часть художественной литературы под разными углами эксплуатировала ту же самую идею. «Театр» Моэма — очевидный, но никоим образом не единственный пример. Но социологи учат своих студентов проводить границу между Социологической Теорией и литературой, или Качественными Методами и журналистикой чтобы не испытывать некомфортных ощущений от того, что открытия их кумиров — вовсе не открытия. Подозреваю, по этой же причине большинство профессиональных социологов являются не очень активными читателями художественной литературы.

Как это стыкуется со свободой от ценностей? Ну, потому что, когда, ко всем прочим ставкам, на которые играет наш мыслительный коллектив, мы привносим еще и ценности, мы поднимаем ставки еще выше. Теперь мы не можем признать, что были неправы, потому что это еще и скомпрометирует политические идеалы, которые мы разделяем, и идеалы наших предшественников. Мало того, что мы заблуждались и показали профессиональную некомпетентность, мы ещё, получается, были горе-пропагандистами, которые старались обманом вести людей за собой. И чем больше мы этих ценностей привнесли, тем меньше нашего желания со всем сделанным расставаться и больше потребности пытаться залатать дыры в тонущем корабле.

И. Д.: Ещё один вопрос в антропологическом модусе связан с феноменом академического признания. Меня очень удивило в первой главе знаменитой книги Homo Academicus «Книга для сожжения», что Бурдьё пишет об академическом признании, как о таком необъективном остатке социальных отношений, как будто это что-то отличающееся от просто борьбы за чистый престиж, как оно выглядит в концепции признания от Гегеля и далее. И мне очень интересно обратиться к вам с таким вопросом как к человеку, который действительно одним из первых начал изучать академическое признание в России. Действительно ли можно это различие между борьбой за признание, то есть борьбой за чистый престиж, и этим устремлением к признанию каким-то образом провести?

М. С.: Бурдьё как я его понимаю, применительно к науке занимал позицию, похожую на позицию Адама Смита применительно к рынку. Он бы возненавидел, безусловно, любого, кто ему бы это сказал, но его логика примерно такая же. Поле науки устроено так — по крайней мере, на его правильном полюсе ограниченного производства — что единственный способ увеличить свой престиж — продви-

гать науку. И в этом плане борьба за престиж, признание и за истину происходят одновременно. Никакой воли к истине, отличной от политического или микрополитического интереса, здесь не предполагается. Да и не нужно. Пусть даже человеческие мотивации всегда в основном низменные, это совершенно неважно, потому что, продвигая свои собственные интересы, мы продвигаем науку наилучшим образом. Невидимая рука, воспетая Айн Рэнд, действует и в науке тоже.

Другое дело, что все те исследования, которыми мы занимались, добавили тут какое-то количество акцентов, которые именно бурдьевистскую картину академического мира ставят под некоторое сомнение. Например, бурдьевистская логика состояла бы в том, что группы с разными конфигурациями капиталов или ресурсов пытаются переопределить границы поля таким образом, чтобы именно их продукты в этом поле были самыми ценными. Но эмпирические подтверждения для этого оказываются, в общем, довольно слабыми. Тот признак, который структурирует в России разные академические вселенные — и исследования признания в разных дисциплинах это показывали, — во многом строится вокруг двух полюсов, западнического и славянофильского. Можно найти какой-нибудь более нейтральный термин — глобалистского и локалистского, например. Было бы логично, чтобы эти разные полюса привлекали людей с разными унаследованными ресурсами, и чтобы накопление ресурсов превращалось в микрополитическую позицию. Например, дети, которых в детстве посылали в английские школы, хорошо знающие английский язык, используют этот ресурс для того, чтобы напечатать много статей на английском языке. Потом они же громче всех продвигают идеи о том, что только публикации в англоязычных журналах — и те приемы и темы, которые в этих журналах приветствуются — вообще заслуживают звания науки. Если им удается захватить контроль в поле, все остальные оказываются выдавлены или на какие-то маргинальные позиции, или из поля вообще, а оставшиеся у них ресурсы доминирующая фракция перераспределит между собой.

Бурдьё, применённый к миру с карательной наукометрией, заставляет нас ждать какой-то такой картины. Но на самом деле картина не очень складывается. То, что мы видим на российских обществоведах, в эту картину укладывается плохо. Есть статьи, которые находили какие-то подтверждения, например, у моей коллеги из Европейского университета Катерины Губы[8]. У неё получилось, что отношение к наукометрии действительно как-то связано с собственным публикационным опытом. То есть, чем выше импакт-фактор, тем лучше люди думают о наукометрии. Каузальность здесь очень за-

[8] *Guba, K.* Why do sociologists on academic periphery willingly support bibliometric indicators? // Scientometrics. 2024. Vol. *129*. No. 1. P. 497-518.

путанная, потому что, может быть, у них выше импакт-фактор — они лучше думают о наукометрии, а может, они лучше думают о наукометрии — поэтому публикуются так, чтобы у них был выше импакт-фактор. С наличными данными установить ничего невозможно, но как будто какая-то предсказательная сила есть. Но на других выборках это не работало никак: есть значительное количество людей, которые говорят, что лучшие статьи публикуются в англоязычных журналах, их средний уровень значительно выше, чем в русскоязычных, но при этом [они] не то что сами ничего там не публиковали — не читают их, потому что английским языком не владеют. Это то, что мы получили на большей по размеру выборке экономистов[9].

Где здесь, спрашивается, политический интерес? Опять же, мы не нашли следов прямой конвертации унаследованных капиталов в позиции в поле науки. Мы бестактно спросили экономистов (а они безропотно ответили), чем занимались их родители, какой у них уровень образования, включая учёную степень, и в какую школу они ходили. Некоторые связи были такими, какими мы и могли бы предполагать. Дети кандидатов наук ходили в английские школы, это хорошо видно. Но дальше никакой однозначной связи с тем, на каком языке они печатались и читали статьи почему-то не находится.

То есть, общеполитические взгляды явно проникают в науку. Научный локализм или глобализм очень тесно переплетены с более широкими политическими ориентациями[10]. Настолько, что они кажутся вообще тождественными друг другу. Но именно бурдьевистская картина социального мира, в которой разные фракции с разными ресурсами, с разными капиталами пытаются передвинуть границы поля так, чтобы эти границы были для них наиболее благоприятны, — вот такая картина не складывается. Можно создать мыслительный коллектив, который за счёт разных анекдотических примеров убедит себя в том, что ещё немного порасспрашивать — и она точно сложится, но шансы этого коллектива на успех выглядят сомнительными.

Андрей Герасимов: Я бы поспорил по поводу интерпретации Бурдьё, но не буду этого делать, потому что уже не раз с Михаилом спорил, и, наверное, повторять это будет не так интересно. Поэтому

[9] *Libman, A., Sokolov, M.* Can Western economics survive in an anti-Western regime? Intellectual universalism and the internationalization of economic science in Russia // European Review of History: Revue européenne d'histoire. No. 32. Vol. 4-5. P. 435-462.

[10] *Sokolov, M.* Totalitarian liberals, imperialist decolonizers: The strange history of sociology in Russia // *Routledge Histories of Sociology Handbook* / S. Moebius, N. Holzhauser, A. Ploder (eds.). Routledge, 2026.

я приготовил другие вопросы. Первый: STS[11] как некая предметная область, начиная, наверное, с 70-х годов, по крайней мере на Западе, но даже чуть-чуть в России, институциализировалась. Есть какие-то журналы, факультеты, образовательные программы, которые учат людей STS, есть исследовательские центры. В то время как в социологии общественных или гуманитарных наук даже нет слова, которое описывает эту область: одни люди называют себя социологами социальных наук, другие — социологами знания, третьи — социологами экспертизы и так далее. И эти люди ещё обычно друг с другом не общаются, даже если пишут про одно и то же. В общем, у них на кабинетах будут разные таблички. Почему всё так плохо? Почему не состоялось даже какого-то магистрального дебата вокруг этой темы, не говоря уже об институциализации — такое ощущение, что до неё ещё надо очень много миллионов лет пройти, потому что нужно создать какой-то аллод, как говорят медиевисты, и его возделывать. Но его никто не создаёт. При этом интерес к области большой. Действительно, очень много разных групп в разных странах занимается очень похожими вещами. По крайней мере, в России, там, где вы раньше работали, ЦИАНО[12] был большим коллективом, который очень активно это исследовал.

М. С.: Андрей, я как раз думаю, что наши разногласия в понимании Бурдьё, и особенно ваш взгляд, многим будут куда более интересны, чем то, что я могу ответить сейчас, потому что на ваш вопрос у меня нет никаких ответов, кроме совершенно очевидного. Социология научного знания начиналась с большого тезиса в духе той самой революции 60-х: всё, что мы знали о мире, неправда. Мы верили в то, что есть объективное научное знание, — так вот его нет. Возникновение социологии научного знания было частью большой конструктивистской волны, когда всё оказывалось социальным конструктом, всё оказывалось относительным, гендер оказался социальным конструктом, нация оказалась социальным конструктом, и научная истина, разумеется, тоже — социальный конструкт. Это было одно большое радикальное послание, которое отражало дух эпохи и для многих ощущалось как глоток свежего воздуха.

Значительная часть авторов этих исходных работ, как вы знаете, потом сказали, что передумали, погорячились — как Латур перед смертью, — отчасти потому, что настроение их аудитории тоже изменилось. В 60-е годы критиковать науку было прогрессивно, а защищать науку было, наоборот, реакционно. Верить в науку — значило

[11] Science and Technology Studies — социальные исследования науки и технологий.

[12] Центр институционального анализа науки и образования Европейского университета в СПб.

присягать на верность технотронному капитализму, логоцентричной цивилизации и даже американскому ВПК, если мы берём американский контекст. Парадоксальным образом, сейчас, пройдя по американскому университетскому городку, мы увидим, что “science is real” стала частью той же самой прогрессивной позиции, которая сочетается с разными эмансипаторными движениями, в 60-х, наоборот, науку критиковавшими. То есть произошёл неожиданный поворот на 180 градусов. И поэтому в связи с глобальным потеплением и в связи с ковидом статус научной истины изменился и снова вырос в глазах левой и либеральной аудитории. И STS, которое за это время превратилось в широко институционализированную область, отреагировало, конечно, на все эти изменения, как и на необходимость доказывать свою практическую полезность и востребованность в эпоху академического менеджериализма.

Моё впечатление об STS сейчас — ощущение постороннего (поскольку я не занимаюсь STS, оно может быть очень поверхностным), но мне кажется, оно благополучно превратилось в область прикладной или эмпирической моральной философии, которая обсуждает вопросы вроде: а с какого момента мы можем считать, что у искусственного интеллекта есть сознание, права, личность? Ясно, что этот вопрос в ближайшие десятилетия никуда не денется, и STS оказалось в очень удачном положении для того, чтобы это обсуждать. И ответ на него, кроме того, интересен огромному количеству людей за пределами науки, потому что он сопряжено с огромным количеством практических решений. Если говорить о том, о чём сейчас думают во всех университетах во время сессии, — какое использование генеративного интеллекта сохраняет за человеком авторство текста? Когда мы должны студентов карать за неавторизованное использование искусственного интеллекта, например? Если мы придумали промпт: тогда то, что ИИ выдал в ответ на промпт, — это наше произведение или не наше? Можно, конечно, дать абсолютистскую позицию: «нет, всё не наше, кроме того, что мы написали сами от первой буквы до последней», но она выглядит явно ретроградной. Статистический коэффициент мы больше не считаем руками. И правописание свое мы тоже не поправляем, и уж, тем более, не пишем свои тексты от руки. Почему такое использование машины мы не считаем ограничением авторства, а промпт считаем? Есть огромное количество совершенно практических вопросов, которые, немножко копнув, выводят нас на большие философские вопросы, и STS заняло эту нишу, так что, в той мере, в какой за будущее хоть чего-то в наше время можно быть спокойным, за будущее STS можно не волноваться.

С другой стороны, поскольку открытия социальных учёных проникают в жизнь простых людей гораздо менее очевидным способом, то и интересны они большей частью самим социальным учёным. Потенциальная аудитория для таких исследований гораздо меньше. Поэто-

му я не сказал бы, что (опять же, с частичным исключением экономики, которая тут занимает особую нишу), что социология социальных наук имела какие-то шансы развиться в большое предприятие. Так что для нас с вами тут всё выглядит не очень радужно.

А. Г.: Я конечно, не буду спорить, потому что [тоже] считаю, что аудитория для социологии социальных наук намного меньше. Но это не объясняет вот такого феномена — что всё-таки аудитория есть, и исследователи есть, но между ними нет никаких, скажем так, социологических сетевых связей. То есть они подчёркнуто игнорируют друг друга. Я вспомнил такой анекдот. Есть два очень крупных американских социолога, которые, может быть, являются в каком-то смысле вершиной социологии знания. Это Рэндалл Коллинз и Эндрю Эбботт. И они написали друг на друга рецензии. Рецензия Коллинза довольно благожелательна — видно, что он приглашает Эбботта к разговору и к какой-то дискуссии. Эбботт отвечает: «Ваша книга — полная ерунда, это полный бред». И рецензия заканчивается так: «Я не рекомендую читать эту книгу». То есть, несмотря на понятное отсутствие институциональных возможностей и финансирования, всё равно даже те люди, которые есть, каким-то образом умудряются — даже если они сталкиваются, скажем, на конференции, — они всё равно проходят мимо друг друга. И вот этот социологический феномен лично я не могу объяснить. Можете ли вы это сделать?

М. С.: Моё объяснение состояло бы здесь в том, что какие-то научные специализации или области гармонично развиваются, если есть очевидные фигуры, начинающие исследования в этой области. Допустим, у нас есть территория-аллод, которая чья-то. Если есть исходные авторы, то дальше всё может более-менее пристраиваться к их работам: развивать, критиковать, отвергать. Все равно у всех есть какая-то общая исходная точка. Но представим себе, что в одной и той же области сразу очень много людей написали какие-то работы, которые могут считаться основополагающими, и с кем из них надо соотносится — совершенно непонятно. Социология науки могла себя как-то позиционировать относительно Мертона: объявлять себя новыми поколениями, добавлять новые переменные, находить у самого Мертона, певца универсализма, всевозможные предубеждения, — это всё пожалуйста. Но при этом там был какой-то ясный центр, и в результате она сохранила — или сохраняла до того, как STS и наукометрия окончательно ни выделились в отдельные специальности, — некоторое подобие общего центра.

Но когда мы говорим про социологию социальных наук, более-менее все социологи испытывают почти рефлекторную необходимость объективировать своих оппонентов и имеют полные возможности для этого. В связи с чем там не было никакого ядра, из которого эта общая

специализация могла бы развиться. В результате пространство внимания (если заимствовать термин у Коллинза) исходно было предельно фрагментировано. У Коллинза есть запоминающийся образ равнины, на которой много-много людей кричат: «слушайте меня, слушайте меня!» И если им повезло, и вначале они слушали кого-то одного, а потом даже совершенно отказались этого кого-то слушать, но когда-то у них этот опыт был, — у них есть больше возможности услышать друг друга. А когда они все сразу слушали каждый только себя, потому что имели более-менее равные основания и возможности высказываться на какую-то тему, — диалога особенного нет, то есть никакого общего фокуса внимания не возникает и не сохраняется, потому что там не было отцов и матерей-основательниц.

А. Г.: Тогда перейду к другому вопросу. Несмотря на то что Ирина пыталась показать, что между вашими разными манифестами есть разный взгляд на социологию, я в риторических целях скажу, что вы склоняетесь, на мой взгляд, по крайней мере в своих реальных исследовательских работах, к такому более-менее объективистскому взгляду на социологию. То есть какая-то социальная реальность всё-таки существует, и мы её можем — тоже со всеми скобками, кавычками — безоценочно изучать.

И что очень ценно, вы не просто теоретически высказываете эту точку зрения, как многие социологические теоретики в вакууме, вы сами это практикуете. По крайней мере, вы сами и ваши коллеги написали очень много очень интересных статей практически по каждой российской общественно-гуманитарной дисциплине: и про экономистов, и про историков, и про политических учёных. Такой взгляд — объективистский, построенный в том числе на использовании количественных методов, — он уже много десятилетий критикуется, обычно с двух сторон. Одна часть, назовём её в кавычках «правая», скажет, что в целом нельзя никаким образом объективно изучать людей, особенно которые производят знания, потому что каждый мыслитель уникален, его биография абсолютно уникальна, каждая идея заслуживает глубокого прочтения. А вы им отвечаете: «Вот в таком-то году родилось больше великих социологов», — и люди падают в обморок сразу. Для другой части, назовём её тоже в кавычках «левой», — в целом такой объективный подход к исследованию академических институций за ним есть всегда какая-то подозрительность. Невозможно изучать более-менее безоценочно: там наверняка есть какой-то либо западный, колониальный… и далее по тексту много дискурсов. Вопрос, конечно, на миллион рублей, но если вам надо кратко «продать» всё-таки исследования социально-гуманитарного знания и ответить на вот эти два возражения — что бы вы сказали?

М. С.: А почему первый взгляд «правый»?

А. Г.: Я говорю в кавычках. Потому что, например, условно «левый» взгляд, который на Западе левый, на постсоветском пространстве часто перехватывают какие-то люди, которые скорее политически правые… Назовём его интерпретативным и критическим, хотя те же названия, может быть, не отражают всей сложности.

М. С.: Может быть, я живу в каком-то своём пузыре, и до меня новости ни справа, ни слева не долетают. Но удивительным образом по поводу наших исследований никто не говорил ни того, ни другого. Возможно, потому что мы эксплицитно опирались на Бурдьё, а с Бурдьё среди современных социологов спорить не принято. Среди «левых» — безусловно. А среди «правых» — бог его знает, правых социологов вообще не существует, если мы не понимаем под «правыми» традиционных гуманитарных историков.

А. Г.: Могу назвать имена.

М. С.: Да, давайте, называйте.

А. Г.: Действительно, в кавычках «слева» мне тяжело вспомнить, кто именно ваши исследования критиковал, но вот с некой интерпретативной традицией я помню очень гневные высказывания, например, Виталия Куренного, который говорил о том, что объективировать нельзя, и знание — это какая-то священная корова. Извините, я немножко иронически, скорее на вашей стороне здесь. Но я помню, что плеяда философов, скажем так, они очень любят вот такого рода возражения.

М. С.: Если говорить про эмпирическую социологию социальных наук, мне кажется, что общая тональность определяется тем, что это всё-таки достаточно маленькая область, если мы берём количество людей, которые делают какие-то исследования. Это может показаться противоречащим тому, что я говорил, но противоречие мнимое. Нормальная научная область состоит из небольшого числа больших теоретиков и большого числа эмпириков. По вопросам социологии социальных наук, однако, высказывалось много больших теоретиков, которые объективировали друг друга — при этом, в ней всегда было ничтожно мало эмпириков. Это так мало людей, что они радуются, если кто-то ещё оказываются вместе с ними в одной лодке, и почти не критикуют друг друга. И так очень хорошо, и сяк очень хорошо. Если мы представим себе традиционных социальных историков социологии, RC08 Международной социологической ас-

социации[13], — это одна из самых приятных, дружественных, деревенских (по Тони Бехеру[14]) специальностей, когда люди приезжают и рассказывают истории, каждый своей страны. И все они очень любят эти истории. Как продолжения любимого сериала, который раз в несколько лет они слышат: что там ещё наисследовали про Лазарсфельда в 20-е годы или про мексиканских контианцев в XIX веке. То есть это очень приятное в социальном смысле окружение, где точно никто никого не будет преследовать, потому что использованы количественные методы, а не интервью, или наоборот.

В отношении интерпретативной научной традиции — может быть, я опять прослушал самую важную критику, потому что был в своём пузыре. Но применительно к исследованию количественными методами я бы сказал, что если что-то удерживает нас от того, чтобы превратиться в уж совсем изолированный мыслительный коллектив в социальных науках, это только количественные данные. Кто кого смог убедить с помощью качественных методов? Не слишком хорошо удерживают, потому что они тоже подвержены разным интерпретациям. Но, по крайней мере, эти разные интерпретации предполагают какой-то рецепт, как можно из них выбирать лучшую. Разные интерпретации текстов Бурдьё могут существовать практически бесконечное время рядом: например, ваша и моя. Это лучший ответ, который я могу придумать.

А. Г.: Это тоже хороший ответ, хотя бы честный. Ещё один вопрос, который я хотел задать вам, — потому что меня спрашивают, а у меня нет ответа. Вопрос состоит в том, что в социологии, и в том числе в социологии знания, куда-то делись большие классики. Вы частично сказали, что есть фактор, связанный с поколением, переосмысляющим прошлое 60–70-х годов. Но если всё-таки перестать молиться на классиков, и если вам нужно назвать какие-то большие работы в этой области (я не знаю, как её назвать: социология социальных наук, социального знания), которые вышли за последние годы, что бы вы сказали? За чем нужно следить, за какими прорывами, есть ли они вообще? Если их нет, то это уже ответ.

М. С.: Из того, что я сказал, следует, что я должен сейчас сказать, что их нет. В моей интерпретации социологической истории — большинство социологов с ней, возможно, не согласятся, но тем не менее — социология вообще-то стала парадигматической наукой.

[13] RC08 — это исследовательский комитет по истории социологии в составе Международной социологической ассоциации (ISA).

[14] *Becher, T.* The counter-culture of specialisation // European Journal of Education. 1990. Vol. 25. No. 3. P. 333–346.

Несмотря на то что нас учили думать, что она мультипарадигматическая, она стала вполне себе парадигматической. В ней сменились три парадигмы. Опять же, в очень спорной интерпретации Куна, согласно которой парадигма — это общий взгляд на вещи, оставляющий для последующих поколений учёных задачу как-то договориться о деталях внутри общей картины.

Была парадигма XIX века, которая точно определяла, что такое социология. Социология — это наука о прогрессе, а ее основная задача — расположить, используя исторический и этнографический материал, общества в линейной последовательности, показывающей, как они превращались из одного в другое, — от наиболее примитивного к современной Англии — а затем спроецировать эту последовательность в будущее и вывести из этого ориентиры прогрессивной политики. «Происхождение семьи» Энгельса представляет собой замечательную иллюстрацию. Энгельс верит, что, сколько бы антропологи ни обнаружили систем родства, они все соответствуют какой-то стадии единой траектории развития. И поэтому наша задача — реконструировать, как они эволюционировали из одной в другую, так, чтобы все известные системы встроились в одну общую картину. Он не сомневался в том, что эта картина есть. И, кроме того, для него было очевидно, что, хотя на сегодня моногамная буржуазная семья — это самая прогрессивная форма, но если мы проследим всю эволюцию, мы можем угадать тренд и понять, что будет дальше.

Социология в XIX веке это: «поймём логику истории, проследим, что отличает самых примитивных дикарей от современной Англии, и попробуем угадать, что будет дальше, и приблизить это светлое будущее». Спенсер, Маркс, Дюркгейм попадут в это широкое определение. Только в 1890 году выходят две первые читаемые сегодня социологические работы, которые не принадлежат к этой парадигме. Тённис, у которого явно нет идеи прогресса — *Gesellschaft* идёт после [*Gemeinschaft*'а], но он не лучше в моральном или политическом смысле. Тённис скорее симпатизирует *Gemeinschaft*'у и у него нет никакой идеи «давайте приближать светлое будущее». И «Законы имитации» Тарда, который вообще прогрессом не очень интересуется, — и поэтому, к слову сказать, кажется нам невероятно современным по сравнению с другими классиками.

Потом снова появляется что-то типа парадигмы после общего периода упадка. И эта период, когда люди задаются парсонсовским вопросом «как вообще социальный порядок возможен?» Легко связать это с их социальным опытом 20-х и 30-х годов — Мировая война, революции, Великая депрессия, тоталитаризм. Что вообще удерживает людей от того, чтобы поубивать друг друга? У Парсонса как раз есть идея эволюции, он в духе XIX века встраивает в своё общее теоретизирование о порядке идею направления развития системы действия. Но для массы людей, которые проводят исследования, опи-

раясь на «Структуру социального действия» и «Социальную систему», его идея исторической эволюции неважна, а важен общий протокол для описания какой-то социальной реальности: какие есть в каждом случае противоречия между ценностями, нормами и индивидуальными импульсами, как они регулируются или не регулируются существующими институтами, и так далее. Собственно, Парсонс вполне заслуженно был таким великим именно потому, что он обеспечил огромное количество даже не во всём с ним согласных социологов пониманием того, что им делать, если их разбудят ночью и скажут: «напишите социологию „Гарри Поттера“».

Потом у нас был второй революционный период, о котором мы уже успели поговорить, и который и породил нашу современную социологическую теорию, закончившуюся в 80-х. И у нас есть новое понимание того, чем занимаются социологи: они исследуют социальное неравенство. То есть главная проблема социологии — как объяснить, почему в списке Forbes очень мало темнокожих лиц, среди чемпионов мира по шахматам никогда не было женщин, и почему нобелевские лауреаты по естественным наукам — это сплошь белые мужчины из стран глобального Севера. Как это объяснить без того, чтобы ссылаться на «Господь так решил» или гены? Это большая тема социологии — скрытые механизмы воспроизводства социального неравенства. 80% того, что пишут социологи, более-менее однозначно вписывается в эту повестку.

При этом, те области, которые по какой-то причине не очень в эту повестку вписывались, превращались в отдельные дисциплины. Скажем, была социология организаций — стал организационный анализ. Потому что вопрос эффективности работы организации встречал большой общественный интерес (платёжеспособный, замечу) вне связи с темой неравенства. При том, что, конечно, неравенства внутри бюрократии будут тоже много исследоваться. Но там есть какая-то альтернативная повестка — как бюрократия работает или не работает, — которая стоит в стороне от этого. Была этнометодология, которая превратилась в значительной степени в область лингвистики. Конверс-анализ не обязательно задаётся вопросом о равенстве, а [спрашивает] о том, как люди вообще способны понимать других людей. Или наукометрия, или STS, которые не были связаны с большой социологической повесткой. Они все оказались за пределами мэйнстримной социологии.

В пределах социологии, если мы сегодня наберём аудиторию способных аспирантов и скажем: «напишите на два абзаца короткий очерк социологии „Гарри Поттера“», — я ставил этот эксперимент, можете поставить и вы — большинство социологий «Гарри Поттера» будет про гендерные стереотипы, про проблему расизма в Хогвартсе, про то, как дети разных классов читают «Гарри Поттера», используя его потом как коммуникативный ресурс для выстраивания отношений с детьми своего же класса, и как более грамотно дети из семей с

высоким культурным капиталом читают «Гарри Поттера» правильно по сравнению с детьми из семей без культурного капитала. То есть, в общем, это даёт нам какую-то универсальную отмычку: мы знаем, что делать с «Гарри Поттером». И это как раз потому, что у нас есть общий консенсус, есть общее понимание, парадигма. Прорывные, отличные от всех работы не то чтобы очень сильно приветствуются или ожидаются. Нам вполне хватает Бурдьё. Бурдьё стал главным современным социологом, потому что он представил набор готовых отмычек, которые подходят почти ко всему.

Опять же, социология хотела быть кумулятивной наукой. И она в какой-то степени стала кумулятивной наукой. Есть некое общее понимание, есть консенсус, есть ощущение достижения, когда мы применили новые, более изощрённые методы для того, чтобы что-то посчитать. Ощущение движения вперед достигается как минимум за счет усовершенствования методов, пусть даже сами открытия и не выглядят особо новыми. И действительно, есть огромное количество очень изобретательно написанных эмпирических работ, которые используют новые данные, новые методы анализа, чтобы убедиться в том, что женщин цитируют меньше, чем мужчин, например. Но есть гораздо меньше запроса на то, чтобы придумать какие-то проблемы, которые в нашу общую повестку не очень укладываются. В целом, за последние 40 лет я бы сказал, что социология пришла к тому, чем была социальная статистика в XIX веке — количественные обследования с прогрессивной политической повесткой.

Это был ответ на вопрос о том, почему назвать свежие интересные работы так трудно. Но если называть имена, то есть разные постколониальные работы, которые вы, Андрей, знаете гораздо лучше моего. Или вот Моника Краузе, например, если мы говорим о социологии социальных наук, — она написала очень интересную работу о статусе разных случаев[15]. Из того, что я бы рекомендовал из свежих работ, это явно приходит в первую очередь на ум. Но они все прекрасно иллюстрируют ту тенденцию, о которой я говорил.

А. Г.: Если расширить вопрос за пределы социологии знания, или даже ядра социологии, если мы его определяем как социологию социальной стратификации, — что бы вы посоветовали? Может быть, в каких-то маргинальных областях есть что-то близкое прорывному духу социологии, как вы его понимаете? Или даже там ничего нет?

М. С.: Если мы берём то, что мне кажется очень интересным, оно, по большей части, будет происходить не из социологии, а из поведен-

[15] *Krause, M.* Model Cases: On Canonical Research Objects and Sites. University of Chicago Press, 2021.

ческой экономики или социолингвистики. Последняя книга, которую я тут невольно порекомендую — “Common Knowledge” Стивена Пинкера[16]. Невольно — потому что один из самых неприятных опытов в академической жизни — это прочитать у кого-то другого свои тщательно вынашиваемые на протяжении долгого времени мысли. И Пинкер действительно сделал много вещей в этой книжке, которые я обдумывал последние годы (и, к счастью, не сделал много других вещей, так что мне, кажется, ещё есть что сказать на эту тему). Но “Common Knowledge” совершенно замечательно берёт терминологию и проблематику из поведенческой теории игр или эпистемической теории игр и добавляет туда социальную лингвистику. Там появляется только самая капелька социологии, хотя в действительности как будто должно быть очень много. И вот эта книжка строится на той литературе, которую я читал последние годы.

А. Г.: Правильно я понимаю, Вы настроены относительно социологии пессимистично? И если я, может быть, так заострю: молодой человек, который хочет оставаться на острие по духу социологического исследования, должен скорее поступать на социолингвистику, потому что там проблемы имеют больше пересечения с классиками социологии, чем в современной социологии это происходит?

И. Д.: Можно я дополню? Вот этот пессимизм в отношении проекта большой социологии как науки с таким мессианским импульсом, — очень созвучно тому, что говорил Александр Фридрихович Филиппов на нашем большом паблик-токе в Шанинке[17], где он сказал публично при большом стечении народа, что социология как проект закрыта. Давайте больше не будем об этом говорить. Но именно поэтому нужно заниматься, как ни странно, фундаментальной социологией. Хотелось бы действительно одновременно на вот эти две реплики получить какой-то ваш результирующий ответ.

М. С.: Да, я могу добавить, что я не рекомендовал бы никому поступать на социологию сейчас. То, что я сам на неё поступил, было ошибкой. Ну, в смысле, если бы я мог отправить какое-то послание самому себе на расстоянии 30 лет — это было бы, пожалуй, «не поступай на социологию». То есть я вообще всегда говорил, что не надо получать социологического образования, по крайней мере в качестве первого. Потому что история, филология, математика — вот практически всё, что угодно, — лучше как бэкграунд для социолога, чем

[16] *Pinker, S.* When Everyone Knows That Everyone Knows...: Common Knowledge and the Mysteries of Money, Power, and Everyday Life. Scribner, 2025.

[17] Предполагается к публикации в журнале «Пути России», 2026, № 3.

учить Дюркгейма с самого первого курса, а потом ещё раз в магистратуре, а потом ещё раз в аспирантуре.

Это общий совет, который касается характера изучения социологии в целом. Но с социологией не стоит связываться и по еще нескольким причинам. С ней не стоит связываться, если вы хотите драйва. Если выбирать общественнонаучную специальность, ориентируясь на драйв, который в ней есть, единственным выбором сегодня, пожалуй, будет экономика. Экономический империализм как будто приобрёл новое дыхание. Прежде был экономический империализм, который строился на универсальности модели рационального выбора, а сейчас у нас есть экономический империализм, который строится на универсальности методов — методов, которые как раз как исторические квазиэксперименты могут быть приложены к чему угодно. Можно посмотреть на последние работы Хекмана про детскую социализацию[18] — тематически примерно то же, что социология детства исследовала последние лет семьдесят. Социологию детства он не упоминает, а если его спросить: «Что же вы не упоминаете социологию детства?» — он скажет: «Ну, всё это смутные догадки, построенные на непроверенных данных. Посмотрите на мои естественные эксперименты. Вот наконец-то пришла настоящая наука. А зачем мне было читать вашего Бурдьё, если я и так всё придумал без вашего Бурдьё?» И, в общем, не поспоришь — действительно много чего придумал совершенно независимо.

Поэтому, мне кажется, у экономистов не было бы проблемы сказать, кто сейчас самый интересный экономист младше 50. Для социологов, а также антропологов или социальных психологов, боюсь, этот вопрос будет трудным, и ответ, если его вообще получится дать, у каждого свой. Социологи в этом контекст вообще смогут назвать только очень пожилых людей. Если мы на большом социологическом мероприятии попросим собравшихся назвать самого значительного ныне живущего социолога, то имена, которые будут встречаться чаще всего, будут принадлежать людям за 80 лет: Арли Хохшильд уже 86, Юргену Хабермасу до 100 немного осталось. Все остальные будут называться с большими сомнениями, и по их поводу будет гораздо меньше консенсуса. А с экономистами всё иначе. Про социолингвистов я уверен несколько меньше, но вот с экономистами это, безусловно, не так.

Все эти мои пессимистичные рассуждения не означают, что социология исчезнет. В этом смысле, она обещает не меньше стабильности, чем любая иная. Мы изучаем неравенство с использованием всё более изощрённых методов и масштабных данных — и, в общем, вполне этим довольны. Понятно, что социальная статистика никуда

[18] См. например: *Хекман, Дж.Дж*. Равные условия для всех детей: стратегия, которая работает / пер. с англ. Э. Л. Емельяновой. — М.: Мозаика-Синтез, Изд-во Московского ун-та, 2018.

не денется. И проблемы, которые с её помощью можно анализировать, никуда не денутся, хотя голодные выпускники экономических факультетов и могут покуситься на эту территорию.

Если для социологии есть какая-то опасность, то она исходит она не со стороны потери спроса на её результаты, а с той, что для неё, как для дисциплины со своим каноном есть риск, что необходимость этого канона будет поставлена под сомнение. Может быть, социология как дисциплина с лояльностью своим классикам, поддерживающей в себе ощущение цельной кумулятивной науки, и исчезнет в следующие десятилетия. Для того чтобы изучать гендерное неравенство, нам необязательно читать Дюркгейма. Много людей могут его изучать, не читая Дюркгейма, и производят примерно те же результаты, которые производят люди, читая Дюркгейма. Правда, эти результаты — примерно те же, что получали люди, не знавшие современных продвинутых методов и не имевшие доступа к Большим данным, но об этом сейчас думают меньше.

Вообще, идея, что изучение классической социологии так организует наш ум, что мы интерпретируем наши эмпирические результаты лучше, чем без нее, может в принципе быть неверной, или, как минимум, переоцененной — и новые поколения могут догадаться, что она переоценена. Поль Вен[19] (я помню, мы с вами, Андрей, его обсуждали сколько-то лет назад) иронически замечал, что большая социологическая теория — это такой набор трюизмов, попытка выдать простейшую житейскую мудрость за отдельный корпус эзотерического знания. Поэтому так сложно рассказать не-социологу что, собственно, открыли социологи. И так мы примерно можем угадать, что эти результаты значат, читали ли мы Дюркгейма или нет. Конечно, статистические результаты будут получаться и анализироваться дальше. Не буду сейчас рассуждать, какую роль во всём этом будет играть искусственный интеллект — безусловно, какую-то будет. Но само это занятие никуда не денется.

Последнее — чтобы не звучать слишком фаталистически, — мы не знаем, не последует ли за двум случившимися еще один парадигматический сдвиг. Некоторые его признаки не так уж трудно разглядеть. Может быть, как людям свойственно искать подтверждения своим взглядам, так им свойственно уставать постоянно видеть вокруг себя одно и то же. Примером может быть, например, то, что полное отвержение генетики в объяснении социального неравенства, — оно вроде бы уходит в прошлое. То есть в 70–80-е годы какие-нибудь исследования школьной успеваемости благополучно включили бы в качестве независимой переменной тест интеллекта. Потом это стало совершенно невозможно, потому что тесты интеллекта, разумеется, превратились

[19] *Вен, П.* Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М.: Научный мир. 2003.

в измеритель унаследованного культурного капитала, а не врожденных способностей. Сейчас, в общем, тесты интеллекта снова появились в разных стратификационных работах. И вдруг оказалось, что, возможно, именно биологическая наследственность объясняет большую часть того неуловимого процесса наследования школьной успеваемости, которую Бурдьё пытался объяснить с помощью габитуса и культуры разных классов. Пять лет назад мы это вообще не обсуждали. Сейчас стали снова обсуждать. Есть и более парадоксальные сюжеты: например, известная команда датских социологов культуры опубликовала исследование, согласно которому монозиготные близнецы имеют гораздо более сходные художественные вкусы, чем дизиготные, даже если они росли под одной крышей и должны были унаследовать идентичный культурный капитал[20]. Как это вписывается в преобладавшее последние 30 лет виденье задач социологии культуры? Честно говоря, никак. Но, по крайней мере, такие работы больше не отвергаются социологическими журналами сходу.

Подводя итог, однажды современная социология заставила людей проснуться в странном и незнакомом мире. За годы своего доминирования, нынешняя парадигма сделала свое понимание общества социального неравенства частью здравого смысла глобального среднего класса. Все знают теперь, что есть гендерное неравенство, что если у нас есть какая-то публичная дискуссия, особенно пленарная, и там одни мужчины — что-то идёт неправильно, надо что-то поменять. В том, что это форма сензитивности распространилось, социология сыграла некоторую, даже, пожалуй, большую роль. Однако, став частью здравого смысла, она оказалась перед дилеммой, контуры которой можно угадать еще в «Социологическом воображении» Миллса. Миллс говорит, что нам надо практиковать социологическое воображение, удивляться знакомому и, одновременно, что нам надо видеть политические проблемы за частными несчастьями. Но что, если видеть политические проблема за частными несчастьями само по себе стало самым распространённым способом смотреть на вещи, не требующим никакого воображения?

Как минимум, однажды социология заставила значительную часть человечества взглянуть на свой дом как на незнакомый, но потом человечество обжило и этот новый дом, полюбив и его, несмотря на многочисленные скелеты в шкафах. Социология, таким образом, оказалась перед выбором — или разрушить созданную ею же конструкцию, или отказаться от своей роли разрушительницы ментальных миров. Мы видим, что пока выбор склонялся скорее в сторону последнего. Но нельзя гарантировать, что этот выбор окончателен.

[20] *Jæger, M. M., & Møllegaard, S.* Where do cultural tastes come from? Genes, environments, or experiences // Sociological Science. 2022. No. *9*. P. 252–274.

Mikhail Sokolov

“Freedom from values is not a tool of scientific research, it is its final point”

Mikhail Sokolov is a Candidate of Sociological Sciences, professor at Nazarbayev University. **E-mail:** mikhail.sokolov@nu.edu.kz.

Andrey Gerasimov is an independent researcher. **E-mail:** agerasimov@eu.spb.ru.

Irina Dudenkova is an Associate Professor at the RANEPA Faculty of Philosophy and Sociology, Dean of the Faculty of Social Sciences at the MSSES, Senior Lecturer at the Department of Philosophy of Religion and Religious Studies at the Faculty of Theology of the Saint Tikhon’s Orthodox University. **E-mail:** dudenkova-iv@universitas.ru.

Abstract: The interview raises issues of institutionalization of sociology of social sciences and humanities, prospects of sociology as a scientific discipline, mechanisms of academic recognition. Sociology is interpreted as a form of organized self-deception, the place and relevance of the principle of freedom from values in scientific work is discussed.

Key words: Sociology of social sciences and humanities, freedom from values, academic recognition, scientific globalism and localism, apology of social knowledge

For citation: Gerasimov, A. (2026) “Freedom from values is not a tool of scientific research, it is its final point”. Interviewers: A. Gerasimov, I. Dudenkova. *Russia’s Directions*. Vol. 4. No. 2. P. 9–32.

Editor **Alina Vladimirovna Likhachevskaya**, MSSES